

Игнатий ИВАНОВСКИЙ

ФРАГМЕНТЫ

(из книги «Почтовая лошадь»)

СОН О БАЙРОНЕ

ИЩУ ПОГИБЕЛИ

На Севере я думал прожить год, а прожил восемь лет и ни разу об этом не пожалел. Эти годы дали прочное знание русской провинции, той самой, благодаря которой только и держатся и прирастают талантами Москва и Петербург. Но деревенский, народный полюс открылся мне не первым. Еще раньше я открыл для себя полюс городской, рафинированный.

За восемь лет до поездки на Север, январским вечером я стоял в фойе Дома писателя, оглушенный невыносимым горем. Передо мной был портрет Михаила Леонидовича Лозинского. К раме этого портрета чья-то рука прикрепила маленькую зеленую веточку: это была весть о смерти моего учителя. Горе так невыносимо грызло меня еще и потому, что, не зная о том, что уже стряслось, я весь вечер хохотал вместе со всеми зрителями театрального капустника. Уморительного капустника, в котором участвовали Уварова и Беньяминов и который теперь сразу погас в моем сознании.

Я вышел на пустынную набережную Невы, в зимний, привычный, но для меня совершенно изменившийся мир. Ни о чем другом, кроме смерти Лозинского, я думать не мог. Не пройдя сотни шагов, понял, что не успокоюсь, пока не найду предприятия, достойного его памяти. Нужна была не просто большая по объему работа. Нужно было крайнее усилие, полная переводческая гибель.

Через полтора месяца я это предприятие нашел: нужно перевести всё, целиком, стихотворное наследие Байрона, шестьдесят три тысячи строк.

Предприятие требовало примерно четырнадцать лет, если не принимать в расчет стихийные бедствия вроде влюбленностей и болезней. Я заложил картотеку сведений о Байроне (тогда я знал даже, на какую ногу он был хром) и перевел первую тысячу строк, начав с юношеских стихотворений.

СОН О БАЙРОНЕ

Мне теперь трудно поверить, как я бредил этим человеком. Вот в ком было великое изобилие полярно противоположных черт!

Он был очень красив – прекрасные глаза и вьющиеся волосы, а его улыбку Колридж называл вратами рая. Но роста Байрон был небольшого. Природный лорд в малейшем движении, он от рождения хромал и очень боялся потолстеть. Любил Вольтера, особенно «Кандида». Но ненавидел Шекспира, потому что сам не обладал даром перевоплощения и всех своих героев списывал с себя.

О его славе нечего и говорить. На чей-то простодушный вопрос, как произносить его фамилию – «Байрон» или «Бирон», – он с полным правом ответил: «Байрон. Так меня называет весь мир». Европейская молодежь восторженно копировала его мелкие привычки. А он надменно отвергал заигрывания литературных кружков, политических партий и наследника престола, но был в добрых отношениях с Джозефом Блекетом, сапожником, писавшим стихи, и посвятил ему шутовское стихотворение.

Среди своих он бывал весел, добр, любил озорные проделки. Держал дома трех гусей, очень к нему привязавшихся. Обладал несравненным юмором. Однажды, подойдя с бутылкой воды к «Зарубежные записки» №7/2006

перепившему участнику дружеской компании, предложил: «Позвольте вас разбавить». Полное отсутствие юмора у жены Байрона было одной из главных причин их развода. Но оставаясь один, он становился мрачен. Не однажды говорил, что у него нет друга. Когда молодой человек, прочитав байроновского «Каина», впал в меланхолию и совершил самоубийство, Байрон грустно сказал: «Если бы я знал, что этим кончится, я не стал бы сочинять эту вещь».

Вальтер Скотт писал о нем: «Я не знал человека более благородного. Однако он не снискал всеобщей любви и уважения, и только лишь потому, что имел несчастье вести себя неосмотрительно». Байрону доставляло большое удовольствие распространять небылицы о якобы снесавших его пороках, а потом видеть всё это в газетах, но публика-то принимала напечатанное всерьез. Когда он навеки покидал Англию, мать прокляла его и крикнула ему вслед, что он так же глуп, как уродлив.

Он говорил, что есть поэзия стиха и поэзия поступка. Однажды в Греции, в Пирее он встретил людей, несших кого-то в мешке. Оказалось, что несут гречанку, которая провинилась перед хозяином-турком и должна быть сброшена со скалы в море. Байрон вступился, отбил девушку, а потом еще раз защитил ее, теперь уже перед судьей. Но был у Байрона поступок побольше, чем спасение девушки. Поступок величиной в жизнь.

После конца Французской революции Европу охватило разочарование. Фигура Байрона стала символом разочарованности в мире. Гёте сказал о нем, что ему везде было тесно. Но в отличие от тех, кто просто предавался разочарованию, Байрон вел неустанную, вдохновенную и деловитую борьбу за свободу. Как свою личную, он отстаивал свободу целых наций, помогал им собственным участием в борьбе, своим именем, оружием и деньгами.

Байрон был богат, его литературные доходы всё возрастали, и как-то он сказал: «Я могу некоторое время содержать довольно многочисленный клан, племя или орду».

Греки-повстанцы предложили ему стать их главнокомандующим, и Байрон не смог им отказать. Но поэзия обернулась презренной прозой. Повстанцы оказались далеко не тем народом, который воспел Гомер. Они не торопились с боевыми действиями против турок, зато без конца клянчили у Байрона прибавку к жалованью. Он заразился болотной лихорадкой, нервные спазмы нарастали. В шесть часов вечера восемнадцатого апреля 1824 года он в изнеможении отвернулся к стене и сказал: «А теперь надо спать». Это были его последние слова.

Скорбь о его кончине была мировой скорбью.

Однажды он мне приснился. Во сне я увидел придорожную гостиницу в какой-то южной стране. Карета перед входом, дверца ее открыта, подножка откинута. Я стою у колеса кареты и жду его выхода. Он появляется с непокрытой головой и в дорожном плаще. Быстро идет к карете, ставит ногу на подножку, замечает человека у колеса и поворачивает ко мне голову. В двух шагах от себя я вижу его лицо, на меня смотрят прекрасные, живые, внимательные глаза, в них нетерпение и чуть насмешливое любопытство. Он что-то спрашивает, но – о ужас – во сне я забыл все слова английского языка! Не понял, что он сказал. Не могу ответить. Я в отчаянии, слезы текут у меня по лицу. Он слегка пожимает плечом и садится в карету. Слуга захлопывает дверцу. И от этого хлопка я просыпаюсь в тоске и слезах, хотя мне, здоровому парню, фехтовальщику, слезы не свойственны.

ОТПУСК НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

К тому времени я уже был знаком с Анной Андреевной Ахматовой.

В зимние сумерки на улице Красной конницы зашел разговор об английских поэтах. О Китсе Ахматова сказала, что это поэт последней стройности, которой после него уже ни у кого не было. Броунинга, с его полной открытостью читателю, сравнила с ленинградским многоэтажным домом, в который во время блокады попала бомба: половина обрушилась, а другая стоит, дом виден в разрезе, висят абажуры, и у каждой комнаты свой цвет обоев.

Разговор перешел на Байрона, и я решился рассказать Анне Андреевне о своем заветном намерении.

Ахматова внимательно выслушала, заговорила сама, и с первых ее слов я почувствовал, как раскачивается и грозит рухнуть здание моих намерений – вполне в духе ахматовского блокадного

сравнения. Нет, говорила она, переводить всего Байрона не нужно, это ошибка. Байрон – поэт очень неровный, он автор не только гениальных лирических отступлений «Чайльд Гарольда», но и длинных, скучных, справедливо забытых восточных поэм. А вот перевести и издать том избранных стихотворений – действительно нужное дело, потому что Байрон, которого у нас обычно переводят подражанием Пушкину, всё еще ждет своего русского переводчика.

В какие-нибудь четверть часа Анна Андреевна, словно раскладывая безукоризненный пасьянс, перечислила всё то, что я смутно ощущал, но не позволял себе осознать, чтобы не разрушить предприятия. Теперь оно рухнуло, освобождая место для других построек, и таким образом, Ахматова подарила мне четырнадцать лет работы.

На улицу я вышел в непривычном томительном состоянии. Тогда еще не были на общем слуху слова, ныне прочно вошедшие в речь: повышенное давление, стресс. Я просто-напросто чувствовал, что не могу жить. Слишком я дорожил моей затеей, слишком подчинил ей душу и разум. Повидимому, давление крови действительно перешло опасную черту.

Выход я нашел бессознательно, сработал инстинкт. На мое счастье еще не закрылась ближайшая пельменная. Не помню, сколько я съел порций, но что-то очень много. И погрузился в спасительное отупение.

Через несколько лет я прочел в журнале статью известного ученого о стрессах. Автор писал, что когда американские офицеры впервые заступили на ночное боевое дежурство при баллистических ракетах (два поворота ключа влево, три вправо – и начнется мировая ядерная война), командование, беспокоясь за их психику, обратилось за советом к психологам. Те сказали: поставить в помещении для дежурства большие холодильники и набить их деликатесами. Так и было сделано. И когда наутро начальство заглянуло в холодильники, то поразилось невероятным опустошениям, которые произвели за ночь дежурные офицеры. Инстинкт требовал наполнить желудок, отвлечь от мозга излишек крови.

Обо всем этом Ахматова, разумеется, не подозревала. Она многие судьбы поворачивала, ничего об этом не зная. Чаще всего стихами. Но и собственной личностью. И даже случайно оброненным словом.

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством. Сама же переводила только для заработка. Сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить.

Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе.

В Комарове, дачном поселке под Ленинградом, я однажды спросил, не нужно ли принести воды, и услышал следующее:

– Спасибо, вода есть. Но вот что вы можете сделать: вон там, на столике под сосной, лежат мои переводы Елизаветы Багряны. В той же папке и подстрочники. Прочтите, поправьте, если нужно, и отнесите на почту.

Именно так: поправьте и отнесите. Подразумевалось, что показывать правку перед уходом на почту не нужно.

Нет, своим кровным делом она перевод не считала.

К старости Анна Андреевна стала проще, сошла с котурнов, когда-то очень высоких. Со мной она была добра и проста – скорее сказочная бабушка, чем злая волшебница. Но не совсем добрая бабушка – с норовом. Если мнения не совпадали, иногда поворачивалась к собеседнику профилем – это был признак неблагоприятности.

Бывали, однако, и царские милости. Прочитав принесенное, сказала:

Вы – чудо перевода.

В другой раз:

– Неужели вам не хочется всё время переводить? С таким искусством?

С удовольствием и не раз повторяла строки моего перевода из Китса:

Я даром отдам
Всех лондонских дам...

Эта веселая дерзость ее позабавила, пришлась по вкусу.

У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем.

На дворе стоял 1955 год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой.

И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался топтун – сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение.

Ахматова сказала:

– Ближе. Еще ближе.

И, понизив голос, начала читать стихи – «Реквием»:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ...

Я слушал, не помня себя. И потому, что Анна Андреевна совершала опасный поступок, – всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем, – и потому, что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было двадцать три года, я был крепким малым, фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало.

Как в тумане, я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали, Ахматова внимательно на меня смотрела и наконец спросила:

– Что вы скажете об этих стихах?

И я услышал свой голос, который произнес с запинкой:

– Это очень... интересно.

После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла. И царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы, и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.

Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения – Ахматова придавала им большое значение: совпадения, тайные даты, не встречи, трехсотлетние пустяки – это был ее инструментарий. И я между прочим сказал, что день моего рождения послезавтра: мне исполнится тридцать один год, я родился первого апреля.

Анна Андреевна слегка поддалась назад и внимательно на меня посмотрела.

– Не может быть.

Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице.

Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, и я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт:

– Этой милой подробности я не знала.

Прошло почти сорок лет, и перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках:

Взоры огненной огня
И усмешка Леля...
Не обманывай меня,
Первое апреля!

Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания: 1963. Заглянул в комментарии – так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишие, держа в руке паспорт, или вечером после моего ухода, или наутро, но записала его и поставила дату на следующий день.

Всё это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал – и добавил, что мое положение совершенно безответственно: никто не может доказать, что это четверостишие не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ:

– Вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль: усмешка Леля.

Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года.

В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос: что означало на светском, дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля»?

Перебрав старые фотографии, я нашел одну, сделанную во время военных сборов, – на ней есть нечто подобное усмешке.

Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

О рекомендации в писательский союз она заговорила сама, избавив меня от душевных мук по этому поводу. Сказала, что даст рекомендацию, как только это потребует.

Потребовалось довольно скоро и, увы, неожиданно спешно. Я приехал к Анне Андреевне и услышал нечто, меня ошеломившее:

– Понятия не имею, что полагается писать. Я только раз в жизни давала рекомендацию, очень давно, одному молодому поэту. Но то был Союз поэтов, и всё было по-другому... Сделаем так. Вон там, на стуле, машинка, здесь – бумага и копирка. Садитесь и пишите. Я буду у себя, а вы, когда напишете, постучите.

Переводы мои представлялись мне в виде длинного безрадостного перечня недостатков. Рекомендация, написанная на этой основе, просто не имела бы смысла, и я сказал об этом Анне Андреевне.

– А вы вспомните, что я вам говорила о ваших переводах, и напишите всё это в точности.

Вспомнить всё это, разумеется, труда для меня не составило. Однажды Анна Андреевна даже написала так называемую внутреннюю рецензию – для Детгиза – на рукопись моего сборника переводов «Дерево свободы»:

«Переводчик с большим вкусом отобрал действительно превосходные стихотворения и тем самым поставил перед собой труднейшие задачи.

Он не только вполне справился с ними, но достиг замечательного успеха. Все переводы выполнены на высоком поэтическом уровне, а такие из них, как баллада «Воды Клайда», стихотворения Бернса «Любовь – как роза красная», «Пегги Монтгомери», «Эпитафия», все включенные в сборник стихи Китса и некоторые другие стихотворения, песни «Китобои», «Русалка» – представляют собой большие достижения всей переводческой школы нашего времени.

Достигнута более чем достаточная степень точности перевода. Во всем сборнике нет ни одного случая существенного расхождения перевода с подлинником. Но при этом переводы воспринимаются как природные русские стихи».

Через полчаса я уехал с рекомендацией. Ахматова подписала ее, наотрез отказавшись прочесть.

А в начале следующего года я получил от нее в подарок книгу стихотворений, вышедшую в Гослитиздате. На титульном листе была надпись: «Милому Игнатию Михайловичу Ивановскому, самому лучшему переводчику. А.Ахматова. 24 февраля 1962, Комарово».

В сентябре 2003 года, в музее Ахматовой в Фонтанном доме я увидел книгу «Записные книжки Анны Ахматовой», изданную в Турине. В списке упомянутых фамилий нашел и свою. Через тридцать семь лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет.

Вот некоторые записи.

«Ивановский, ученик и секретарь М<ихаила> Л<еоновича>, сказал мне, что Лоз<инский> ни одно письмо не отправлял, не оставив себе копии. Т<аким> о<бразом> я могу быть уверена, что все его письма ко мне существуют, несмотря на то, что оригиналы большинства из них погибли у меня, потому что все, что у меня, неизбежно гибнет».

(Я не был секретарем Лозинского. Был его учеником, а после его смерти разобрал и описал его архив. И. И.)

«Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных «объяснений» Ивановскому, он сказал: «Я чуть не крикнул посередине: перестаньте – не могу больше. Ведь то, что вы читаете, это та же поэма (скажем, «Решка»), но в прозе – это невыносимо»».

«Ивановский с розами».

«Полночные стихи – Ивановск<ому>». (То есть обещана копия «Полночных стихов».)

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Незадолго до окончания института иностранных языков я прочел драматическую поэму Лонгфелло «Микеланджело». Читая, узнавал источники – вот это взято у Вазари, а это у Челлини – примерялся к добротным белым стихам, потом попробовал переводить, и работа меня поглотила. Как всегда, рядом с работой шла игра: попутно занимаясь портретом эпохи Возрождения, я взял да и сфотографировался в наспех сооруженном подобии исторического костюма: «Молодой человек с яблоком». И очень позабавил этой фотографией Лозинского. Михаил Леонидович рассматривал снимок, то приближая его к глазам, то удаляя, и при этом говорил с комической серьезностью:

– Нет, пожалуй, это не кватроченто. Скорее, кинквеченто: поворот головы свободнее.

С переводом он был знаком. Написал на странице рукописи, содержавшей трагический монолог Микеланджело: «Очень хорошо».

Потом как-то само собой вышло, что каждую субботу к Александре Николаевне Яacobсон стала приходить Елизавета Александровна Уварова – послушать чтение очередных сцен из «Микеланджело». А потом я переписал перевод на пишущей машинке, переплел и – забыл о рукописи. Издать три тысячи стихотворных строк, в которых сплошь разговоры об искусстве, да еще без всякой социальной подкладки, было бы в то время настоящим чудом. Но чудес в издательствах не бывает, да и жил я по тем же законам, что и Александра Николаевна Яacobсон. Окончил перевод – переходи к следующей работе, которую тоже не издашь. Гонорар – понятие отвлеченное, теоретическое, отношения к тебе не имеет. Молодость в лучших традициях, то есть вполне нищая. На дачу к Лозинскому, в июльскую жару, я приезжал в потертом черном костюме – он был у меня один-единственный, да и тот домашними усилиями перекрашен из серого.

Я окончил институт, служил, переводил. Получил первый в жизни заказ – спешно, за ночь перевести десять строк Виктора Гюго для девятнадцатого тома собрания сочинений. Вот эти стихи:

Как всюду о пришельце новом,
Здесь говорят: «Откуда он?»
Изгнанья холодом суровым
Я всё сильнее окружен.
Не вижу родины далекой,
На смену радости высокой
Пришли надолго дни тоски.
Зовет могила, я немолод,
И веет в душу зимний холод,
И снег ложится на виски.

Через несколько месяцев том вышел в свет и таким образом состоялся мой неожиданный дебют. А пока что я забыл и об этом переводе.

Чудо все-таки произошло. Оно позвонило по телефону и заговорило голосом Даниила Михайловича Горфинкеля. Даниил Михайлович давным-давно составил том стихов Лонгфелло, отдал в издательство и тоже забыл об этом. Издательство напомнило само: в Советский Союз, впервые после войны, собирался приехать президент Соединенных Штатов, и всё, что было подходящего к случаю, нужно было спешно издать. Лонгфелло несомненно подходил.

Я, однако, в чудо не поверил начисто и сразу решил от него отгородиться. Не признавать его реальность, чтобы не изменить законам моей жизни. Но раздался новый звонок, на этот раз из издательства. Просили приехать немедленно, подписать договор.

Приехал. Подписал, не читая и по-прежнему начисто не веря. Сколько мне полагается денег, не поинтересовался ввиду нереальности происходящего. Начались неожиданные вопросы:

– Номер вашего банковского счета? У вас нет счета в банке? Тогда номер сберкнижки. Как, и сберкнижки нет? Сегодня же заведите. Нет денег? Но ведь нужно всего пять рублей. Займите у кого-нибудь.

Занять я мог только у матери. На мою просьбу – дать эти пять рублей, и тогда придут какие-то там большие деньги из издательства – мать сказала со вздохом:

– Знаю, знаю, что тебе опять не дожить до зарплаты. Но врать-то зачем? Деньги! От издательства! Сказал бы правду.

Прошло полмесяца. До зарплаты я и в самом деле не дотянул. Когда совсем прижало, вспомнил

ФРАГМЕНТЫ

о поездке в издательство и на всякий случай, по пути, зашел в сберкассу.

Девушка-контролер, моя ровесница, достала карточку, заглянула в нее, и что-то в ее лице изменилось. Рядом возникла другая девушка и тоже заглянула, но смолчать не смогла, это было выше ее сил. Она сказала в пространство:

– Такой молодой, а уже гонорары получает.

Я заглянул в сберкнижку. В ней появилась цифра, окончательно подтвердившая полную нереальность происходящего – три тысячи рублей. На службе я зарабатывал в месяц сорок пять.

Подумав, я спросил:

А можно мне взять – ну хотя бы рублей сто? Понимаете, очень нужно.

Девушка зарумянилась. Богатый молодой человек явно издевался. Однако выглядел так невинно, говорил так искренне, что это сбивало ее с толку. Она пожалала плечами.

– Да хоть всё берите.

Я взял половину и отправился разыскивать мать.

ПЕСНИ

Я студент первого курса. Когда я буду на третьем курсе, умрет Сталин, но сейчас до его смерти остается еще два года. Кажется, что он, как Кощей, бессмертен, и никаких перемен никогда не будет.

Самое первое и естественное желание переводчика английских поэтов – побывать там, где эти поэты жили и писали. Но об этом нечего и думать. И снова я зажигаю свечу перед большой картой Англии – почему-то физической, с обозначением полезных ископаемых, – гашу свет и сижу в полутьме, при колеблющемся пламени. И каких только не приходит мыслей о славном заморском народе. Как этот народ талантлив, как полон жизненных сил, и как мне близка его поэзия! Читаю одно английское стихотворение, другое, третье, всё меня радует и восхищает, но пока что только радует, только восхищает. И вдруг – вот оно, сердце пропускает один удар. Это стихотворение я буду переводить.

Есть стихи совсем особого рода – тексты английских и шотландских народных песен. Я переводил их, потому что очень любил петь. Голос у меня был – в школе я потешал одноклассников тем, что по их просьбе изображал сирену воздушной тревоги (блокада только что окончилась). Подбирал положение голосовых связок – и одноклассники затыкали уши, пронзительный вой заполнял все четыре этажа школьного здания, появлялся дежурный учитель и отводил меня к директору. Когда же я добрался до английских песен, то с великим увлечением взялся за перевод текстов – чтобы петь самому. А это и есть способ переводить песни. Поешь – и невольно провереешь, совпадают ли обе мелодии – музыкальная и стихотворная, точно ли ложится текст на музыку, удобно ли петь. Так было с английскими, а потом и шведскими песнями.

Я пел всегда и везде, где только были слушатели. Во время литературных выступлений перемежал чтение переводов пением песен. Пел в столичных редакциях и в глухой провинции, в самодеятельных концертах сельских учителей и за рулем «газика» районной газеты. Пел в гостях. А если слушателей не оказывалось – пел у себя дома, в ванной.

С интересом и вниманием слушала однажды английскую песню Ахматова, требовательно сказала: «Еще» – и повторяла это слово, пока не иссяк весь мой тогдашний запас – восемь английских песен. Уже после смерти Анны Андреевны прибавились песни шведские, в весьма большом количестве.

Когда я пою английскую ли, шведскую ли народную песню, мне представляется русская деревенская девушка. Она прикинула на себя английский или шведский наряд и, стоя перед зеркалом, смотрит и смотрит, любит на себя в обновке.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

СТАНСЫ

Погибает свобода в отчизне твоей,
Но соседи сражаются пылко.

Игнатий ИВАНОВСКИЙ

Вспомни мужество римлян и бейся смелей,
Не жалея ни лба, ни затылка.

Мир запомнит, что ты угнетенным помог,
Он, конечно, героя прославит.
И тебя увенчает лавровый венок,
Если прежде петля не удавит.

НЕ БРОДИТЬ МНЕ НОЧЬЮ С НЕЮ ...

Не бродить мне ночью с нею
В тишине полей,
Хоть любовь зовет сильнее,
И луна горит светлей.

Но клинок ножны износит,
А душа износит грудь.
Вот и сердце тихо просит
От блаженства отдохнуть.

Хоть любовь зовет сильнее
В этот поздний час ночной,
Не бродить мне ночью с нею
В поле под луной.

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ НЬЮФАУНДЛЕНДСКОЙ СОБАКИ

Когда надменный герцог или граф
Вернется в землю, славы не стяжав,
Зовут ваятеля с его резцом
И ставят памятник над мертвецом.
Конечно, надпись будет говорить,
Не кем он был – кем только мог бы быть.
А этот бедный пес, вернейший друг,
Усерднейший из всех усердных слуг –
Он как умел хозяину служил,
Он только для него дышал и жил,
И что ж? Забыты преданность и труд,
И даже душу в нем не признают:
Его кумир, всеильный господин,
На небесах желает быть один.
О человек, слепой жилец времен!
Ты рабством или властью развращен.
Кто знал тебя, гнушается тобой,
Презренный прах с презренною судьбой!
Любовь твоя – разврат, а дружба – ложь.
Ты словом и улыбкой предаешь.
Твоя порода чванна и горда,
Но за нее краснеешь от стыда.
Ступай к богатым склепам – и не стой
Над этой урной, скромной и простой.
Она останки друга сторожит.
Один был друг – и тот в земле лежит.

ФРАГМЕНТЫ

ЭПИТАФИЯ ДЖОЗЕФА БЛЕКЕТА, ПОЭТА И САПОЖНИКА

Здесь дремлет мастер, о прохожий,
Тончайшей мысли, толстой кожи.
Бедняга Джозеф был таков,
Он не износит башмаков.
И так и этак он строчил,
Покуда здесь не опочил.
Ступай потише, милый друг:
Кто подобьет тебе каблук?
Почтим у гробовой доски
Его стишки, его стежки.
Мир помянет его добром,
Владел он шилом, как пером,
Кроил из кожи всё, что мог,
Из кожи лез, кроя стишок.
Чернил он обувь многим людям,
Но мы чернить его не будем.